

Содержание тринадцатой речи. Продолжение начатого ранее рассуждения

[49]

В конце нашей прошлой речи мы сказали, что среди нас имеет хождение и еще немало ничтожных мыслей и обманчивых систем о задачах жизни народов, которые мешают немцам составить себе достойное их своеобразия твердое воззрение на теперешнее их положение. Поскольку именно сейчас эти мечтательные системы с величайшим усердием навязывают себя вниманию публики, и теперь, когда столь многое стало шатким и непрочным, иные могли бы принять их, чтобы только заполнить возникшие пробелы мысли, существо дела требует, мне кажется, подвергнуть эти мысли испытанию более серьезно, чем бы они того вообще-то заслуживали по их совершенной неважности. Во-первых и прежде всего; первые, изначальные и подлинно естественные границы государств суть, без сомнения, их внутренние границы. Все, кто говорят на одном и том же языке, и без всякого человеческого искусства самой природой уже связаны между собою множеством невидимых уз; они понимают друг друга, и способны объясниться друг с другом все с большей степенью ясности, они близки друг другу и естественно образуют единство и неразделимое целое. Подобное целое не может желать воспринять в свой состав народ с иным языком и происхождением и смешаться с этим народом, не запутавшись при этом совершенно, по крайней мере вначале, и не нарушив тем весьма значительно равномерный ход своего дальнейшего образования. Эта внутренняя граница, которую проводит сама духовная природа человека, определяет собою внешнее разграничение мест жительства, как следствие первой, и согласно естественному воззрению на вещи, люди составляют один народ вовсе не потому, что они живут в пределах известных рек или гор, но напротив: люди живут сообща и, если им так посчастливилось, под защитой рек или гор, потому что они уже и прежде того, в силу гораздо более общего закона природы, были единым народом.

Так и немецкая нация, объединенная вполне достаточно общим языком и образом мысли, и достаточно строго отделяясь от других народов, помещалась в центре Европы, подобно валу, разделяющему несродные друг другу племена, – достаточно храбрая и многочисленная, чтобы защитить свои границы от любого покушения иноземцев, предоставленная своей собственной судьбе и мало расположенная проявлять интерес к

соседним народностям, вмешиваться в их дела и тревожить их, возбуждая в них этим враждебное к себе отношение. Ее счастливая судьба уберегла ее от непосредственного участия в грабеже других миров; от этого события, которое более, чем какое-нибудь другое, послужило основой образу развития мировой истории в новое время, судьбам народов, и немалой части их мнений и понятий. Только начиная с этого события, христианская Европа, бывшая до тех пор, и сама того отчетливо не сознавая, единой, и выступавшая как единство в общих своих предприятиях, разделилась на множество обособленных частей; только начиная с этого события, взору всех предстала добыча, для всех общая, которую каждый одинаково желал получить сам, потому что мог одинаковым образом употребить ее, и которую каждый с ревнивой завистью видел в руках другого; только теперь явилась причина для тайной вражды и воинственности всех против всех. К тому же только теперь присоединение народов, в том числе, и иного происхождения и языка, посредством завоевания или, если завоевание было невозможно, посредством коалиции, и присвоение себе сил этих народов стало выгодно народам. Народ, неизменно следующий закону природы, если населяемые им земли станут слишком тесны для него, может желать расширить их, завоевав соседние земли, чтобы получить больше простора для себя, и в таком случае он изгонит с этих земель их прежних обитателей; он может пожелать сменить суровый и неплодородный край на области более мягкого и благословенного климата, и тогда он опять-таки прогонит оттуда их прежних обитателей; а если его тоже постигнет вырождение, он может предпринимать и просто разбойничьи набеги и, не желая себе ни самих земель, ни их обитателей, станет просто захватывать все, что может ему пригодиться, а затем снова оставлять опустошенные земли; он может, наконец, разделить между собою прежних обитателей завоеванной им земли, тоже как некую полезную вещь, сделав их рабами отдельных людей; но присоединять к себе чужую народность, такой, какова она есть, сделав ее составной частью своего государства, – от этого ему не будет ни малейшей выгоды, и он никогда не испытает даже искушения сделать подобное. Но если случится, что ему угодно будет отвоевать заманчивую общую добычу у равного ему по силам или даже сильнее него соперника, – тогда уже он рассуждает иначе. Подходит ли нам впрочем побежденный народ, или нет, но по крайней мере его кулаки всегда сгодятся для борьбы с противником, которого мы собираемся ограбить, и мы будем рады каждому человеку, как прибавлению вооруженной силы нашего государства. Если же какому-нибудь мудрецу, который желал бы мира и спокойствия, вполне ясно открылись бы глаза на это положение вещей, то от чего бы он мог ожидать такого спокойствия? Конечно, не от естественного ограничения человеческой алчности сознанием того, что излишнее никому не приносит пользы; ибо налицо добыча, соблазнительная для всех; и так же точно не мог бы он ожидать желанного спокойствия от воли, которая сама себе положит границы, потому что среди таких людей, из которых каждый старается присвоить себе все, что только может, тот, кто станет себя ограничивать, непременно погибнет. Никто не желает уделить другому того, что сейчас принадлежит ему; каждый хочет украсть у другого его достояние, если только может. Если кто-то спокоен, то только потому, что он не считает себя достаточно сильным, чтобы затевать новый спор; и он наверняка затеет спор тут же, как только почувствует в себе необходимую для этого силу. Следовательно, единственное средство поддержания спокойствия – сделать так, чтобы никогда один человек не мог приобрести достаточно могущества для нарушения общего мира, и чтобы каждый знал, что у другой стороны есть столько же сил для сопротивления, сколько у него самого сил для нападения; создать, таким образом, равновесие и противовес совокупной мощи, которое бы

единственно сохраняло, по исчезновении всех других средств, наличное имущество каждого и общее спокойствие всех. А значит, известная система равновесия мощи государств в Европе предполагает два эти условия: во-первых, разбой, на который никто не имеет единоличного права, но которого одинаково жаждут все, и во-вторых, всеобщую, постоянно обнаруживающуюся в действии, страсть всех и каждого к разбою; а при этих условиях подобное равновесие будет, конечно же, единственным средством поддержания спокойствия, если бы только удалось найти второе средство для установления этого равновесия и сделать эту пустую мысль осязаемой действительностью.

Но разве позволительно было делать и эти два допущения в столь общем виде, и без всяких исключений? Разве в сердце Европы могучая немецкая нация не осталась чистой от этой добычи и от заразной охоты к ней, и почти неспособной даже и притязать на эту добычу? Если бы только эта нация оставалась соединенной в одну общую волю и одну общую силу, – то, пусть бы все прочие европейцы сколько угодно убивали друг друга на всех морях, на всех островах и побережьях; в центре Европы надежный вал немцев помешал бы им столкнуться между собою, – здесь сохранился бы мир, и сами немцы смогли бы сохранить себе, а вместе с собою и части прочих европейских народов, спокойствие и благосостояние.

Своекорыстие заграницы, рассчитывающее только на следующую минуту, не могло допустить, чтобы это так было. Иностранцы сочли, что немецкая храбрость пригодится им, чтобы вести войны с ее помощью, а немецкие руки – чтобы этими руками вырвать добычу у их соперников; нужно было изобрести только средство достичь этой цели, и заграничная хитрость одержала легкую победу над непосредственностью и неопасливостью немцев. Именно заграница первой воспользовалась возникшим в Германии внутренним разладом из-за религиозных разногласий, чтобы искусственно расколоть и эту нацию, представлявшую совокупность всей христианской Европы в миниатюре, из прежнего тесно сплоченного единства на обособленные и самобытно существующие части так же точно, как естественно раскололась прежде и сама Европа от явившейся перед нею общей добычи; заграница сумела представить друг другу эти, возникшие таким путем, особенные государства в недрах единой нации, у которых не было иных врагов, кроме самой заграницы, и не было иной задачи, кроме одной общей задачи: соединенными силами противостоять коварству и обольщениям этой заграницы, – заграница умела представить эти государства друг другу естественными врагами, которых каждое из них всегда должно бдительно остерегаться, а саму себя изобразить их естественной союзницей в борьбе с опасностью, грозящей им будто бы от их же собственных соотечественников; союзницей, вместе с которой они только и могут выстоять или победить, и которой они поэтому также должны всеми своими силами оказывать поддержку во всех ее предприятиях. Только силой этой искусственной связи всякий раздор в Старом или Новом свете, из-за какого бы предмета он ни возникал, становился поводом к раздору между самими немецкими племенами; исход всякой войны, по какой бы причине она ни возникла, приходилось решать на немецкой земле, проливая немецкую кровь; всякое смещение всемирного равновесия нужно было возмещать в той именно нации, которой был чужд самый первоисточник этих отношений, и немецкие государства, обособленное существование которых само уже было противно разуму и природе, чтобы только быть хотя чем-нибудь, сделались придатками главных гирь на весах европейского равновесия, за колебаниями которых они отныне слепо и безвольно следовали. И подобно тому, как в ином иностранном государстве граждан обозначают по-

разному, смотря по тому, принадлежат ли они к той или иной из иноземных партий и голосуют ли за ту или иную из иностранных коалиций, и только тех из граждан, кто принадлежит к партии отечества, не умеют назвать никаким особенным именем, – так и немцы давно уже были только за какую-нибудь чужеземную партию, и лишь изредка встречали вы среди них человека, державшего сторону немцев и убежденного, что этой стране нужно вступить в коалицию с самой собою.

Таково, следовательно, было подлинное происхождение и значение пресловутой системы искусственно поддерживаемого равновесия силы между европейскими государствами, таковы были ее последствия для Германии и для всего мира. Если бы христианская Европа осталась единой, как ей и следовало, и какова она была первоначально, то никогда не появилось бы причин сочинять подобную идею: единое покоится на самом себе и само себя поддерживает, а не разделяется на разногласные силы, которые бы нужно было удерживать друг с другом в равновесии; только в Европе разделившейся, где право утратило силу, эта идея приобрела хоть какое-то значение. Германия не принадлежала к этой утратившей правомерность, разделившейся в себе Европе. Если бы осталась единой, по крайней мере, только Германия, то она покоилась бы в самой себе посреди образованной земли, как Солнце посреди мироздания; она сохранилась бы в покое сама, и сохранила бы вместе с тем покой и в ближайшем своем окружении, и сообщила бы всему равновесие, не принимая каких бы то ни было искусственных мер, одним только естественным своим существованием. Только обман заграницы заставил Германию вмешаться в несправедливость и раздоры этой заграницы, и внушил ей это коварное понятие о равновесии, как одно из самых действительных средств для того, чтобы ввести ее в заблуждение о том, в чем состоит ее подлинная выгода, и удержать в ней это заблуждение. Эта цель ныне весьма успешно достигнута, и желаемые последствия этого у нас на виду. Если же мы и не можем устранить этих последствий, – то почему же не искоренить нам по крайней мере источник этого положения дел в нашем собственном разуме, который ныне есть едва ли не единственное, что осталось в нашем свободном распоряжении? Почему должны мы позволять, чтобы этот старый призрак сновидения по-прежнему витал перед нашими глазами, когда беда уже пробудила нас от этого сна? Почему же по крайней мере теперь не должны мы увидеть истину и то единственное средство, которое может спасти нас, – не совершат ли, быть может, хоть наши потомки то, что мы ныне постигли; так же, как мы страдаем теперь оттого, что наши отцы предавались грезам. Давайте же поймем, что идея искусственно поддерживаемого равновесия, хотя она и могла быть утешительной мечтой для заграницы при всех бедствиях, при всей вине, на ней тяготевших, – но что она, как исключительно заграничное изделие, никогда не должна бы укорениться в душе немца, и что немцы никогда не должны оказываться в положении, в котором бы эта идея могла укорениться у них. Сейчас по крайней мере мы постигаем все ее ничтожество, и нам следует понять, что спасение для всех – не в этой идее, а только в единении всех немцев между собою.

Столь же чужда для немцев и та свобода мореплавания, которую столь часто проповедуют в наши дни; все равно, подразумевают ли при этом действительно такую свободу для всех, или только нашу собственную способность не допустить к этой свободе всех прочих. В течение столетий, пока другие нации соперничали между собою, немец не обнаруживал большого желания стать причастным этой свободе мореплавания в сколько-нибудь

обширных пределах, и он никогда этого не пожелает. Да эта свобода ему и не нужна. Его щедро одаренная природой страна и его собственное прилежание дают ему все, что нужно для жизни образованному человеку; не лишен он и мастерства в обработке всего этого для своих целей: а чтобы он мог усвоить себе единственную подлинную выгоду, которую заключает в себе всемирная торговля – расширение научных сведений о Земле и ее обитателях, – его собственный научный дух доставит ему любой меновой товар. – О, если бы благосклонная судьба так же точно уберегла немцев от косвенного участия в ограблении других частей света и их обитателей, как она сохранила их от непосредственного в нем участия! О если бы легкоеверие и желание жить столь же изысканно и благородно, как другие народы, не сделало для нас потребностью все те ненужные товары, которые производятся в дальних краях, – и если бы в отношении товаров более насущных мы постарались лучше создать сносные условия жизни для наших свободных сограждан, чем извлекать для себя выгоду потом и кровью бедных рабов за океанами! Тогда бы мы, по крайней мере, не подали сами повода для нашей нынешней доли, на нас не пошли бы войной, как на скупщиков, и нас не разорили бы, как разоряют сельскую ярмарку. Почти десять лет тому назад, когда еще никто не мог предвидеть всего, что с тех пор случилось, немцам давали совет сделаться независимыми от мировой торговли и замкнуться в обособленное торговое государство⁵⁰. Это предложение шло вразрез с нашими привычками, но особенно – с нашим идолопоклонническим почтением к чеканному металлу, и потому оно встретило страстное неприятие публики и было ею высокомерно отвергнуто. С тех пор, под давлением чуждой силы и со многим бесчестием, мы учимся обходиться без того, и даже – без много большего, без чего, как мы уверяли тогда вполне свободно и к величайшей чести для себя, мы никак обойтись не можем. Пусть же теперь мы воспользуемся таким случаем, когда нас, по крайней мере, не искушает никакое удовольствие, чтобы раз навсегда исправить наши понятия о вещах! Пусть поймем мы, наконец, что все эти головокружительной широты системы, трактующие о мировой торговле и производстве для нужд всего мира хотя и годятся для иностранцев, и составляют как раз оружие из того арсенала, которым иностранец с нами издавна воевал, но что они не могут найти применения к немцам, и что после единства немцев между собою их внутренняя самостоятельность и торговая независимость есть второе средство их спасения, а через их посредство – и спасения Европы.

Пусть же решимся мы, наконец, ясно увидеть и всю ненавистную суть, все неразумие той мечты о всемирной монархии, которую начинают предлагать теперь публике для поклонения, вместо идеи равновесия, которая с некоторых пор начинает казаться все менее правдоподобной! Духовная природа могла явить нам сущность человечества лишь в беспредельном многообразии оттенков индивидуального, и вообще в индивидуальности в общем и целом, в отдельных народах. Только когда каждый из этих народов, будучи предоставлен самому себе, развивается и оформляется в согласии со своей собственной особостью (Eigenheit), а в каждом из этих народов каждый индивид развивается в согласии как с этой общенародной, так и со своей частной особостью и в самом себе, явление Божества выступает в своем подлинном зеркале именно таким, как должно; и только тот, кто или не имеет ни малейшего представления о закономерности и о божественном порядке, или кто закоренелый враг этого порядка, только тот может осмелиться самочинно вмешаться в действие этого высшего закона духовного мира. Только в незримых и недоступных их собственному взору своеобразных чертах наций, – в том самом, что

связывает их с источником изначальной жизни, заключен залог их нынешнего и будущего достоинства, их добродетели, их заслуги; если смешавшись или слившись с другими, народы притупят в себе эти особенные черты, то от этой плоскости произойдет отделение их от духовной природы, а от этого – слияние всех наций, после чего все их равно и все вместе ждет неминуемая гибель. Верить ли нам тем писателям, которые утешают нас во всех наших бедах надеждой на то, что зато всем нам предстоит стать подданными начинающейся ныне новой всемирной монархии, – когда они уверяют, что кто-то затем только решил до такой степени раздробить все зачатки человеческого в человеке, чтобы силой придать хоть какую-то форму растекающемуся тесту; и что еще возможна в нашу эпоху подобная грубость и враждебность ко всему роду человеческому? Или, если даже мы решимся поверить для начала в это совершенно невероятное утверждение: какое же орудие позволит, далее, осуществить такой план; что это за народ может, при нынешнем состоянии образованности в Европе, покорить мир для какого бы то ни было нового всемирного монарха? Вот уже несколько веков прошло с тех пор, как народы Европы перестали быть дикарями и радостно предаваться разрушению ради самого разрушения. Все ищут окончательного мира, после войны; покоя, после напряженных трудов, порядка, после мятежей. И все хотят увенчать свой жизненный путь мирной и тихой жизнью в кругу семьи. Какое-то время, пусть даже только воображаемая, национальная выгода может воодушевлять их к войне; но если повод к ней будет одинаковым образом повторяться снова и снова – исчезнут мечты о выгоде, и та сила одержимости и азарта, которую она вселяла прежде; вернется с прежней силой желание спокойствия и порядка, и встанет вопрос: ради какой же цели я делаю и терплю все это? Покорителю мира наших дней пришлось бы сперва искоренить в народах все эти чувства, и обдуманном искусством внедрить народ дикарей в эту эпоху, которая по самой природе своей не может дать такого народа. Но более того. Если только человеку дадут возможность хоть несколько успокоиться, то глазам того, кто с юных лет привык к образованному возделыванию земель, к благосостоянию и порядку, приятно видеть все это повсюду, где он это встречает, ибо это зрелище составляет предмет и его собственного, никогда вполне не искоренимого стремления, и ему самому бывает больно, разрушать этот порядок. Придется найти противовес и этому благоволению, столь глубоко запечатлевшемуся ныне в душе общественного человека, и этой его печали при виде бедствий, которые воин причиняет завоеванным странам. А этому нет иного противовеса, кроме страсти к грабежу. Если господствующим побуждением воина станет накопить поболее сокровищ, если он привыкнет, опустошая цветущие некогда страны, не думать ни о чем, кроме того, что лично он может получить среди общей нищеты, то нужно ожидать, что чувства сострадания и жалости умолкнут в нем. Стало быть, кроме варварской грубости, покоритель мира должен будет воспитывать в своих воинах еще и страсть к грабежу; ему придется не наказывать вымогателей, но даже поощрять их. Должен будет совершенно исчезнуть тот позор, который естественно сопровождает это занятие, разбой будет считаться почетным знаком утонченного ума, великим и славным деянием, и за него станут отныне раздавать всевозможные почести и чины. Где же в новой Европе столь бесчестная нация, чтобы с ней можно было обойтись подобным образом? Или предположите даже, что ему удалось и это переобразование своего народа, но ведь теперь именно это его средство не позволит ему достигнуть своей цели. Такой народ видит отныне в завоеванных землях, людях и изделиях искусства не более чем только средство для того, чтобы в величайшей спешке делать деньги, дабы идти дальше и там опять-таки делать деньги; он быстро вымогает у них все, что умеет, и бросает то, из чего выжал все соки, на произвол

судьбы; он рубит дерево, плоды которого хочет достать; кто действует с такими орудиями, тот понапрасну станет упражнять на них все свое искусство совращения, убеждения и обмана; они могут вводить в заблуждение только издали, но как только их увидят вблизи, даже самый бессмысленный тупица сразу же заметит их животную грубость и бесстыдную и наглую хищность, и тогда очевидно для каждого человека обнаружится их презрение ко всему роду человеческому. С такими людьми можно разграбить землю, растереть ее в тупой хаос однообразия, но нельзя учредить на ней стройный порядок всемирной монархии.

Названные мысли, и все подобного рода мысли, суть порождения мышления, попросту играющего само с собою, а порою и застревающего в своей собственной паутине, мышления, недостойного немецкой основательности и серьезности. Некоторые из этих образов, как например, образ политического равновесия, годятся, самое большее, на то, чтобы послужить вспомогательными линиями, по которым мы можем сориентироваться в обширном и неясном многообразии явления и упорядочить его в своем уме; но верить в то, что подобные вещи существуют в природе, или стремиться к их осуществлению, – это все равно, как если бы кто-нибудь захотел найти на действительном земном шаре зримое выражение и обозначение тех полюсов, экватора и тропиков, по которым ориентирует он свои наблюдения на земле. Только бы в нашей нации вошло в обычай, мыслить не только в шутку и как бы ради пробы – что получится, – но так, как если бы то, что мы мыслим, должно быть истинным и иметь действительное значение в жизни, – и тогда излишними станут все предостережения от этих иллюзий исконно заграничной и просто обольщающей немцев государственной мудрости.

Эта основательность, серьезность и весомость нашего образа мысли, если только она будет нам присуща, тут же проявится и в нашей жизни. Мы побеждены, – хотим ли мы, чтобы нас в то же время презирали, и презирали справедливо, хотим ли мы, ко всем прочим нашим потерям, утратить еще и нашу честь, – это всегда будет зависеть от нас. Вооруженная борьба закончилась; начинается, если только мы этого захотим, новая борьба, борьба принципов, нравов, характера.

Давайте дадим нашим гостям, в самих себе, пример верной преданности отечеству и друзьям, неподкупной справедливости и любви к своему долгу, всех гражданских и семейственных добродетелей, как дружеский подарок хозяев возвращающимся гостям, – ведь когда-нибудь они вернуться, наконец, к себе на родину. И давайте поостережемся давать им повод презирать нас; а это презрение мы вызовем в них всего вернее, если мы будем сверх всякой меры бояться их, или если мы откажемся от нашего образа жизни и будем стремиться уподобиться им в их собственном образе жизни. Пусть удержимся мы и от того, чтобы отдельный человек из нашей среды раздражал и возбуждал других людей; а впрочем всего вернее для нас будет идти своим путем далее так, как будто бы мы были наедине сами с собою, и не вступать решительно ни в какие отношения, кроме тех, которых от нас безусловно требует необходимость; а для этого самое верное средство будет то, чтобы каждый удовлетворился тем, что могут дать ему его прежние отношения в отечестве, нес, в меру своих сил, свою часть бремени общественных обязанностей, а любое покровительство заграницы считал для себя позором и бесчестьем.

К сожалению, почти повсюду в Европе, а потому также и в Германии, стало обычаем, что люди, когда им случается делать выбор, предпочитают лучше унизиться, чем оказаться тем, что называют обыкновенно «внушительным», и, вероятно, всю систему усвоенных хороших манер можно было бы свести к этому одному принципу. Пусть бы мы, немцы, при настоящем случае погрешили уж лучше против этих хороших манер, нежели против чего-то высшего! Пусть бы мы лучше, хотя это и будет такую погрешностью, остались тем, что мы есть, и даже, если только сможем, стали бы еще сильнее и решительнее такими, какими мы должны быть! Пусть мы не устыдимся тех упреков, которые нам обыкновенно делают, – что нам не хватает быстроты и легкой сноровки, и что мы во всем бываем чересчур серьезны, тяжелы и важны, – и постараемся даже заслужить их все с большим правом и все в большем объеме! Пусть укрепит нас в этом решении то без особого труда усваиваемое, убеждение, что мы все равно, как бы ни старались, никогда не сумеем угодить им, если не перестанем вовсе быть самими собой, что было бы все равно, как если бы нас вовсе не было более на свете. Есть, в самом деле, такие народы, которые, сохраняя сами свое своеобразие и желая, чтобы другие относились к нему с почтением, признают и за всеми прочими народами их своеобразие, позволяют им и разрешают иметь это своеобразие. К числу таких народов, без сомнения, принадлежат и немцы, и эта черта столь глубоко коренится во всей прошедшей и нынешней жизни их в мире, что очень часто, чтобы только быть справедливыми и к современной им загранице, и к древнему миру, они бывали несправедливы к самим себе. Есть, однако, и другие народы, которым их тесно сплоченная в себе самость никогда не позволяет свободно отвлечься мыслью, чтобы хладнокровно и спокойно взглянуть на самость другого, и которые поэтому вынуждены верить, что существует лишь один единственный способ быть образованным человеком, и это именно тот способ, который силою какой-нибудь случайности достался в настоящее время на долю именно им самим; и что все прочие люди предназначены только к тому, чтобы стать такими же, как они. и все эти люди будут обязаны им величайшей благодарностью, если только эти народы пожелают взять на себя труд образовать их такими. Народы первого рода пребывают между собою в чрезвычайно благотельном взаимодействии и взаимном проникновении, при котором, однако, всякий народ остается тождествен себе самому, по доброй воле другого. Народы второго рода не способны ничего образовать, ибо не способны ничего ухватить в его наличном существовании; они хотят только уничтожить все существующее и произвести всюду вне самих себя пустое место, на котором бы они могли повторять один лишь собственный свой облик; даже если они и вникают, казалось бы, поначалу в обычаи другого народа, то проявляют в том лишь добродушную снисходительность воспитателя к его теперь еще слабому, но подающему надежды ученику; даже лики совершенного прошедшего им не по душе, пока они не облачат их в свои собственные наряды, и если бы они только могли, они охотно вызвали бы их вновь из гроба, чтобы воспитать их на свой лад. Правда, я далек от того, чтобы дерзко упрекать в подобной ограниченности какую-нибудь существующую ныне нацию в целом и без исключений. Предположим, скорее, что и в этом также лучше других те, кто никак себя не проявляет. Но если мы должны оценивать тех, кто явился среди нас и проявил себя вполне, по этим их проявлениям, то из этого, мне кажется, следует, что их следует отнести к описанному мною только что классу. Подобное проявление требует, кажется, доказательств; и умолчав обо всех прочих следствиях этого же духа, которые ныне на виду у всей Европы, я приведу в доказательство только одно обстоятельство, а именно следующее: мы вели с ними войну; мы, со своей стороны, были в ней побежденными, а они – победителями; это истина, и это признают все. Этим, без

сомнения, они могли бы теперь удовлетвориться. Если бы теперь кто-нибудь из нас продолжал верить в то, что правое дело было все-таки на нашей стороне, что мы заслужили победу, и что достойно сожаления, если победа нам не досталась: разве же это было бы так уже плохо, и разве они, – которые, со своей стороны, могут так же точно думать про себя все, что им угодно, – могли бы так уж строго упрекать нас в этом? Но нет, мы не должны сметь так думать. Мы должны признать вместе с тем, сколь несправедливо желать когда-либо не так, как они, и не повиноваться им; мы должны благословить свои поражения, как самое благотворное из возможного для нас, и их самих, как своих благодетелей. Иначе ведь и быть не может, и это только надеются услышать от нашего здравого смысла! – Но к чему дальше повторять то, что почти две тысячи лет назад было сказано довольно точно, например, в книгах «Истории» Тацита? Взгляд римлян на отношение к ним побежденных военной силой варваров, основанием которому у самих римлян была все же заслуживающая некоторого извинения кажимость, будто сопротивление им есть преступный мятеж и возмущение против божественных и человеческих законов, и будто бы их оружие может принести народам только благословенное счастье, а их оковы – только честь, – этот же самый взгляд составили теперь и о нас, и его-то, с великим благодушием, требуют от нас самих, и предполагают его в нас самих. Не стану выдавать суждения подобного рода за некую высокомерную насмешку; я могу понять, как, при значительном самомнении и ограниченности духа, можно всерьез верить в подобное и добросовестно считать и другого способным в это верить, и я полагаю, что римляне, например, действительно в это верили; я всего лишь предлагаю Вам подумать, могут ли те из нас, кому представляется невозможным обратиться когда-нибудь в эту веру, рассчитывать при этом на какую бы то ни было компенсацию.

Мы станем глубоко презренны в глазах заграницы, если вслух ей станем обвинять один другого, немецкие племена, сословия, личности, в постигшей нас общей судьбе, и начнем сурово и страстно упрекать в этом друг друга. Прежде всего, подобного рода обвинения, по большей части, несправедливы, неправы, необоснованны. Какие причины привели Германию к ее теперешней участи, – это мы указали выше; эти причины столетиями одинаково были свойственны всем немецким племенам без исключения; а последние события не были следствиями какой-то отдельной ошибки одного-единственного племени или его правительства, они подготавливались достаточно давно, и если бы все зависело только от причин, заключающихся в нас самих, эти события так же точно настигли бы нас уже давно. Правда, общая вина или невиновность всех в этих событиях одинаково велика, и считаться виной мы тоже уже не можем. Оказалось, что, торопя конечный исход событий, отдельные немецкие государства не знали даже самих себя, свои силы и свое действительное положение; как же может какое-нибудь из них присвоить себе право выступить из своих пределов и вынести окончательное суждение о вине другого, опирающееся на основательное знание дела?

Может быть, известное сословие⁵¹ во всяком племени нашего немецкого отечества с большим основанием заслуживает упреков, – не потому, чтобы и оно так же точно не понимало, или не способно было сделать, больше всех других, – ибо это – общая вина всех, – но потому, что оно делало вид, будто понимает и способно сделать больше других, и устранило всех прочих от управления государствами. Если бы и такой упрек был оправдан: кто мог бы высказать его, и для чего же нужно высказывать и обсуждать его именно теперь

громче и суровее, чем когда-либо прежде? Мы видим, что упрек этот исходит от писателей. Если прежде, когда это сословие еще обладало всей властью и авторитетом, с молчаливого согласия решительного большинства остального человечества, эти писатели говорили точно так же, как говорят теперь: кто может упрекнуть их в их желании напомнить о своей прежней речи, основательно подтвержденной нашим опытом? Мы слышим также, что они выводят на суд народа отдельных названных ими лиц, которые прежде стояли во главе государственных дел, представляют нам свидетельства их непригодности, их косности, их злой воли, и ясно доказывают, что из подобных причин необходимо должны были произойти такие следствия. Если они уже и прежде, когда власть еще была в руках этих обвиняемых, и когда то зло, которое необходимо должно было воспоследовать из их управления, еще можно было отвратить, они понимали то самое, что понимают теперь, и так же гласно это выражали; если уже тогда они с той же силой обвиняли тех, кого считают виновными, и не преминули испытать все средства для того, чтобы спасти от них отечество и вырвать его из рук этих виновных, и если тогда их просто не услышали: то они совершенно справедливо напоминают теперь о своем отвергнутом тогда проницательном предупреждении. Но если они извлекли свою теперешнюю премудрость только из результатов, из которых между тем и весь народ вместе с ними научился той же премудрости: почему теперь именно они говорят то, что всем прочим ныне и без того уже известно? Или, может быть, тогда они даже льстили из корыстолюбия, или молчали из страха перед теми лицами и сословиями, на которых теперь, когда они уже утратили государственную власть, безудержно обрушиваются их обвинительные речи: о, так пусть же они вперед не забывают упоминать, среди причин наших бедствий, наряду с дворянством и непригодными к службе министрами и полководцами, еще и политических писателей, которые узнают о том, что должно было совершиться, только по действительно данным результатам, как это свойственно и черни, и которые льстят власть имеющим, а над поверженными злорадно издеваются!

Или, быть может, они критикуют прошлые ошибки, которые, впрочем, не сможет уничтожить никакая критика, только затем, чтобы их более не совершали в будущем; и только их усердное желание основательно улучшить положение человечества заставляет их столь смело пренебрегать соображениями благоразумия и приличий? Мы охотно предположили бы в них подобную добрую волю, если бы только основательность ума и проницательность давали им право на добрую волю в этой области. Не только отдельные лица, случайно оказавшиеся на высших должностях в государстве, но вся связь и переплетение целого: весь дух времени, ошибки, невежество, поверхностность, нерешительность, и неразрывно с ними связанная неуверенность шага – все нравы эпохи, короче говоря, привели к нашим нынешним бедствиям; и потому должности действовали при этом гораздо более, нежели лица, и каждый, в том числе сами жестокие обвинители, может с большой вероятностью предположить, что, будь они на месте этих лиц, окружающие обстоятельства увлекли бы и их приблизительно к той же самой цели. Нужно только поменьше предаваться грезам о чьей-то намеренной злобе и предательстве! Для объяснения почти всех событий нам достаточно будет допустить неразумие и косность действующих лиц; а это – такая вина, от которой никто не должен освобождать себя без основательного самоиспытания; тем более, что там, где в большинстве имеется немалая сила инерции, индивиду, который постигает это, должна быть свойственна немалая сила деятельности. Как бы сурово ни обрисовали нам поэтому ошибки отдельных лиц, тем самым еще вовсе не обнаружат причину наших бедствий, как не устранят и самих бедствий только

тем, что станут в будущем избегать подобных ошибок. Если люди останутся несовершенны, то они не смогут не совершать ошибок; и если даже они избегут ошибок, допущенных их предшественниками, то в бесконечном пространстве их погрешимости без труда отыщутся новые ошибки. Нам может помочь только совершенное пересоздание людей, только начаток совершенно нового духа в них. Если они станут трудиться для развития в себе этого духа, то мы охотно признаем за ними, кроме достоинства доброй воли, и достоинство верного и спасительного разума. Эти взаимные упреки, кроме того, что они несправедливы и бесполезны, в то же время в крайней степени неблагоприятны, и они непременно глубоко унижают нас в мнении заграницы, которой мы, сверх того, еще всячески навязываем известия об этих упреках и облегчаем познание их. Если мы неустанно рассказываем иностранцам, как запутано и глупо все было у нас прежде, и до какой степени подлы оказались те, кто нами правил, – разве они не должны думать, что, как бы они теперь с нами не обращались, они однако все еще слишком хороши для нас, и никогда не могут стать для нас слишком плохи? Не должны ли они думать, что мы, при нашей величайшей неловкости и беспомощности, должны с самой смиренной благодарностью принимать от них всякую вещь, которую они уже предложили нам или еще предназначают передать нам в будущем, из богатой сокровищницы своего искусства править, управлять и законодательствовать? Нужно ли им такое подтверждение их и без того весьма выгодного мнения о себе самих и их ничтожного мнения о нас? Не становятся ли, благодаря таким упрекам, известные суждения, которые иначе приходилось бы считать лишь злой насмешкой, как например, те, что только они дали отечество немецким землям, у которых прежде не было отечества, или, что они отменили ту рабскую зависимость одних лиц от других, которая имела у нас прежде силу закона, повторением наших собственных утверждений и отзвуком нашей собственной лести за границе? То, что мы, немцы, как только показались среди нас чужеземные пушки – разразились поношениями нашим правительствам, нашим властителям, которым прежде мы расточали безвкусную лесть, и всему отечественному, – как будто бы мы давно уже ждали этого момента и хотим единственно употребить его себе на пользу, пока время еще не упущено, – это позор для нас, позор, который мы, немцы, не можем разделить ни с одним из прочих европейских народов, участь коих во всем остальном уподобилась ныне нашей участи.

Как же нам, всем прочим, и невинным, отвести от себя этот позор и оставить виновных наедине с их виной? Есть одно средство. Пасквили перестанут печатать сегодня же, если только будут уверены, что их отныне не станут покупать, и как только их авторы и издатели не смогут уже твердо рассчитывать на читателей, которых привлекает к их изделиям праздность, пустое любопытство и страсть к болтовне, или злорадное желание видеть униженным то, что некогда внушало им чувство мучительного уважения. Пусть каждый, кто чувствует этот позор, возвратит предложенный ему для прочтения пасквиль с тем презрением, которого он заслуживает; пусть он сделает это, хотя бы и думал, что он – единственный, кто это сделает, пока среди нас не станет обычаем, чтобы каждый поступал так же точно. А тогда мы без насильственных запретов на книги весьма скоро сможем избавиться от этой рубрики нашей литературы.

И наконец, мы унижаемся перед заграницей всего более, если принимаемся льстить ей. Некоторые из нас уже и прежде сделались достаточно смешны, презренны и отвратительны, воскурняя при каждом случае грубый фимиам властителям отечества, и не

щая ни разума, ни приличий, благообразия и вкуса там, где считали для себя возможным произнести льстивую речь о них. Со временем этот обычай устарел, а эти дифирамбы превратились отчасти просто в брань. Между тем, словно бы для того, чтобы не утратить полученного в прошлом навыка, мы обратили эти наши клубы фимиамов в другую сторону, туда, где сейчас находится верховная власть. Уже и первое, – как сама лесть, так и то, что ее не запретили высказывать, – должно было причинять сердечную боль всякому серьезно мыслящему немцу; однако все это осталось среди нас. Не хотим ли мы теперь призвать и за границу в свидетельницы этой нашей низменной страсти, а в то же время и величайшей неловкости, с какой мы избавляемся от этой страсти, и тем присовокупить к презренному зрелищу нашей низости еще и смехотворное зрелище нашей же неуклюжести? Дело в том, что в этом нашем отправлении нам недостает тонкости, присущей иностранцу; чтобы только нас невозможно было не услышать, мы впадаем в пошлости и преувеличения, и без предисловий начинаем обожествлять предмет нашей хвалы и превозносить его выше солнца и звезд. К этому присоединяется то, что у нас, похоже, все эти восхваления вынуждают преимущественно страх и ужас перед победителем; однако нет ничего смешнее, чем боязливый, восхваляющий красоту и любезный вид того, кого он в самом деле считает страшилищем и кого он хочет просто подкупить этой своей лестью, опасаясь, как бы тот не проглотил его.

Или, может быть, все эти хвалы – не лесть, но истинное изъявление почтения и удивления, какими они обязаны великому гению, управляющему ныне, по их убеждению, делами всех людей? Как же мало они и в этом знают признаки истинного величия! Величие духа во все века и у всех народов было верно себе в том, что оно не было тщеславно, напротив, с давних пор именно то наверняка и было мелочно и низко, что обнаруживало в себе тщеславие. Подлинное, само себе довлеющее величие не радуется виду триумфальных колонн, воздвигаемых современниками, или эпитету «Великий», или крикливому ликованию и дифирамбам толпы; все это оно с должным презрением отвергает, и ожидает суждения современников о самом себе прежде всего от собственного судьи в душе каждого из них, а гласного приговора себе ожидает лишь от суда потомков. Этому величию всегда сопутствовала также и та черта, что оно чтит темный и загадочный рок и страшится его, помнит о вечно катящемся колесе фортуны и не позволяет прежде конца восхвалять свое величие или блаженство. А следовательно, эти панегиристы противоречат сами себе, и уже тем одним, какие слова они произносят, обращают содержание своих панегириков в сплошную ложь. Если бы они действительно признавали великим предмет своих похвал, то признались бы себе в том, что он выше их одобрения и их хвалы, и почтили бы его благоговейным молчанием. Коль скоро же они обращают похвалы ему в особое свое занятие, они тем самым показывают, что считают его на самом деле мелким и низменным существом, и настолько тщеславным, что их хвалы могут ему понравиться, и что этими хвалами они могут отвратить от себя какую-нибудь неприятность или добиться для себя какого-нибудь блага.

Все эти вдохновенные крики: «что за возвышенный гений, что за глубина премудрости, что за всеобъемлющий план!» – что же говорят они. в конце концов, если мы присмотримся к ним пристальнее? Они говорят, что гений этот столь велик, что и мы можем в полной мере постигнуть это, что премудрость эта столь глубока, что и мы способны проникнуть в ее бездны, что план этот столь всеобъемлющ, что и мы можем вполне вообразить его себе. Они

говорят, следовательно, что восхваляемый предмет велик приблизительно в той же мере, что и сам хвалитель, и однако не совсем в той же мере, – ведь этот последний вполне понимает и объемлет умом восхваляемое, а значит, стоит выше его, и наверное мог бы, если бы только постарался, сделать даже и нечто более значительное. Нужно быть очень высокого мнения о самом себе, чтобы думать, что сможешь таким образом приятной лестью услужить предмету похвалы; а восхваляемый должен быть очень невысокого мнения о самом себе, если благосклонно примет подобные знаки почтения.

Нет, порядочные, серьезные, степенные немецкие мужи и земляки, да не коснется подобное неразумие нашего духа, а подобное осквернение – нашего языка. Образованного для выражения истины! Предоставим загранице ликовать и изумляться при виде всякого нового явления; составлять себе новое мерило величия людей и дел в каждом новом десятилетии; и, в похвалу людям, изрекать богохульства. Пусть наше мерило величия останется прежним: пусть великим будет для нас лишь то, что способно воспринять идеи, которые всегда приносят народам только счастье, и вдохновляется ими; судить же о величии людей, живущих ныне, предоставим нашим потомкам! [52]

Версия #1

Зверобой создал 13 апреля 2025 13:25:34

Зверобой обновил 13 апреля 2025 13:26:32